

**Д**

ень, когда это началось, был безвозвратно упущен. Может, обратиться куда-нибудь с этим раньше, Лёня успел бы осознать *их* и не дал бы *им* ходу. Но раз пустил *их* на самотек, то теперь уж ничего и нельзя было поделать.

В среду вечером у него стала болеть спина. Точнее, два крошечных комочка на лопатках. Слева даже побольше. Приятнее. словно там перекатывалось по кулечку. Конечно, это от того, что он целый день ведрами носил воду. соседка Оля Ивановна очень его просила. От колонки на Набережной до ее дома двести Лёнькиных шагов. Ведро он поднимал в гору, упираясь в теплый приятный асфальт босой ступней, и от скуки считал шаги, вспоминал стихи или воображал, что под ногами, на треснувшем асфальте, пополам с щебенкой и песком, куда со взмахом птичьего крыла уходят водяные хлопья из ведра, — что там прописаны те самые страны и города, о которых он что-нибудь знал и слышал.

Оля Ивановна его очень благодарила, подала два горячих пирожка в газете, улыбаясь сквозь потное лицо. Левый пирожок, кажется, был даже побольше.

— Спасибо, Лёничка. Жалко не соседи уже. Хоть приходишь. На неделю воды и-и-и хватит.

— Да как не соседи? Вы мне позвоните, я сразу приду.

Соседями они были лет двадцать назад, еще до «коммунизма», пока семья Бездорожных не переехала в другой район города.

Уже вечерело. Лёня шел через весь город, темный и тихий Коммунарск, в котором в последние лет пять по вечерам освещалась только центральная улица, а до нее извилистый крюк. Там весело, молодежь и все, кто еще не уехал из «коммунизма», собирались и развлекались, как знали. В основном возле Бани. В ней работала Варя, но сегодня у нее выходной и она дома, в «третьем конце» города. А всего их пять, не считая Сайгона. По легенде, во времена коллективизации всех цыган из области согнали в эту слободку возле соснового леса, чтобы перековать в сознательных граждан новой страны. Сайгоном эту цыганскую станицу с краю города назвал приезжий газетчик, который в девяностых два месяца проработал в местном печатном органе. Его быстро выставили за подобные «словопрения», но наряду с этим вошедшим в народ топонимом, он успел наградить городок поговоркой, которую напечатали и не успели изъять из тиража. В ней обыгрывалось название города, о котором тогдашний городской глава говорил в той же газетке: «Наш Коммунарск хоть и маленький, но очень производственный в плане производства мяса на душу областных жителей мясоперерабатывающий центр. Мясоконсервный перерабатывающий завод занимает лидирующие места по всем показателям потребления среди ведущих производителей профильного уровня. Наши жители всегда будут обеспечены мясом и работой. И разве не таким должен быть настоящий рай?»

А звучала поговорка так: «Комурайск, а кому и Самурайск». А мясной завод в народе назывался просто «Бойня». И от нее воняло чудовищно.

Жизнь в Комурайске налаживалась по линии Баня-Бойня. Это был настоящий коммунизм, далекий от всего, что о нем знали теоретики марксизма, включая самого Маркса. «Коммунизм» в нем наступил в девяностых, после того, как зарплату стали выдавать мясопродукцией Бойни. Остальное, что невозможно было удовлетворить мясом, предоставляла Баня: в ней находились не только расставленные по конвейеру парилка, сауна, бассейн, но все это совмещалось с услугами парикмахерской, торгово-развлекательного центра, мебельного салона, автозаправки, почты, банка, базара и даже милиции. Центральная площадь вместе с мэрией и налоговой, рядом с которой стоял бетонный Ильич, располагалась поодаль, в культурном месте. Оно освещалось фонарями всю ночь, в отличие от центральной улицы, которая гасла в полночь и которую напрасно называли Бродвеем. Ильич указывал на север, то есть на Москву. Население, которое выезжало по зову Ильича туда из «коммунизма» на заработки, называлось «ленинцами». Вот и получалось, что к двухтысячным в городе только и оставалось, что Баня и Бойня.

На Бойне, несмотря на нутряной, животный запах, работали почти все в городе, «мясные люди». Остальные — в Бане. И только Лёня Бездорожный, подобно мэру и налоговикам, оставлял за собой привилегию не принадлежать этому вещественному миру. Он говорил, что пока готовится к Москве.

С пятницы спина заболела так, что Лёня от тоски пошел к Михалычу.

Пан Михалыч не принадлежал к «мясным». Он вязал венки для Бани, мастерил ушаты, бочонки, всякую деревянную мелочь, торговал ею на рынке. И вообще у него была своя столярная мастерская, здесь, прямо на балконе, который выпячивался ящичком из его «объединенной» квартиры. Седьмой этаж, где он жил с незапамятных «докоммунистических» времен, долгое время стоял заброшенным, пока Михалыч не решил, что соседи, ставшие «ленинцами», уже никогда не вернуться из далекого прекрасного будущего, поскольку столица для провинции всегда будущее, очертания которого не догнать, не пленить. Он пробил стены между квартирами и получил очень «объединенную» жилплощадь, назвав ее «Союз-Аполлон».

— Стыковочный модуль «спальня», стыковочный модуль типа «сортир», стыковочный модуль «задушевная»... — знакомил Михалыч со своим жильем, хамовато улыбаясь. Всего их было на этаже четыре, этих модулей. В «задушевной» на тридцать пять «кубиков» Михалыч, разобрав стены, устроил место, где мог «предаваться счастью и размышлению о бытие». Под потолком висела растяжка «Ляж и подумай час о бытие». Для счастья и бытия в модуле «кладовая солнца» хранилась амброзия в таре.

До Михалыча было примерно семь тысяч двести Лёниных шагов. В хорошую погоду, конечно, меньше. В плохую, особенно, когда петляешь между лужами, или в жару, когда босиком по асфальту, — тогда да, поболее будет. В среднем — час ходьбы.

Сам Лёня жил в доме друга, который попросил «посторожить» его, пока сам будет «ленинцем». Но в окна на опустевшую улицу, предприимчиво, преждевременно и пророчески названную когда-то «улицей Юных Ленинцев», уже четвертый год смотрел один только Лёня. Ни друга, ни соседей друга, ни друзей соседей друга — никто не хотел возвращаться из прекрасного будущего. Только одинокая машина, словно случайная собака, пробегала здесь в ночь, поджав задний свет габаритных. Глубокий общий двор, предвестник и аналог сточных многоэтажек, но положительных набок, в горизонтальную ипостась, каждое лето зарастал по горло, утопая в травяное наводнение, и толпы чертополохов, лебеды и полыни до осени выстраивались в очередь к сараям, гаражам и туалетным домикам.

— Понимаешь, тут кумовской город, в котором тебя знают до того, как узнают, — говорил друг в последнюю ночь перед отъездом. На столе блестела трехлитровка картофельного самогона. — А там тебя воспринимают, какой ты на самом деле. Это феноменология, бро. Чистое восприятие. Безоценочное. Беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт. Дай предмету заговорить о самом себе. В данном случае — обо мне. — Друг шарил в гуссерлианстве.

Когда Лёня поднимался по ступенькам михалычевой девятиэтажки, его августовские пятки блаженно целовались с холодным бетоном подъезда, отдыхая от семи с лишком тысяч горячих шагов по земле.

— Вот-вот, молодец, что пришел... — пан Михалыч признавал только советские праздники и отдельно пятницу как особый, «коммунистический день». С самого начала дня он чувствовал себя своеобразным баяном, которому не терпится дожить до вечера и растянуться в

гимне счастью и труду. И сегодня была пятница. И Михалыч снова был баян. Прибавка «пан» к его имени не означала, что он поляк. Как раз наоборот, никто ни его имени-фамилии, ни национальной принадлежности не знал, а «пан» было нечто вроде сокращения для длинного «нуты, Михалыч, мировой, чертьего, мужик, даешь». То есть в том же значении, что и «панмонголизм», «панспермия» и «пандемия», например. «Всеобщий мужик», значит. В отличие от древнегреческого Пана, он был вполне городской мужчина, брился, ни на какой сиринге не играл, но заложить за воротник, а тем более в пятницу, считал пренебрежительным и пренеотлагательным действием. За один намек о запрете мог даже бить в морду. Лёне он тоже налил, тем более уже пять вечера, и баян у него в душе требует свое. Они вышли в его «задушевную», где Михалыч позавчера снес всю внешнюю стену, чтобы на лес и городскую окраину открывался ошеломительный вид. Даже подойти на метр к этой панораме было боязно. Город находился с противоположной стороны, а здесь — сосны, поля, светло-фиолетовый асфальт вьется и пропадает на подъезде к городской свалке.

— Я здесь живу в раю, — говорит Михалыч. — Электричество есть, вода есть, огород есть. Земля, воздух, небо. В небе солнце, птицы и пахнет. Только ангелов не завелось.

— Это хорошо.

— Почему хорошо? Нехоррошо! Я бы привлек одного такого к ответу, чтобы никто никогда не ехал в наш Комурайск.

— Я имею в виду, хорошо, что вода и огород. Воздух и небо.

— А! Тогда молодец! — и снова разлил на двоих.

Электричество, вода, огород, четыре квартиры на этаже, сквозной проход через весь дом по седьмому этажу — все это у Михалыча было дармовое. Огороды и несколько теплиц он лично присвоил в течение последних трех лет. В прошлом году, когда электричества еще хватало, ходил Михалыч с перфоратором по всей девятиэтажке, дом трясло, как штaketник. Но кому до этого какое дело? Почти весь микрорайончик пустует. Сам город полузаброшен. Дом стоит на краю перед глухим сосняком. Если кто спросит, пан Михалыч ответит, что скупил весь этаж «за пятак». Вообще же говоря, хозяйничал он в этой девятиэтажке, как хотел, невзирая на десяток жилых квартир на первых этажах. О рае, правда, могла быть речь только по контрасту с Бойней: до Михалыча вонь не доходила. Поэтому и в дом, и в окрестности иногда подселялись посторонние.

Михалыч потащил Лёньку на балкон. Тут среди верстаков он мастерил музыкальный инструмент. Была у него такая придурь. И сам вроде не поймет, что за инструмент и как его делать. Лепит по вдохновению и по наитию.

— Михалыч, я тебе говорю: это балалайка...

— Чертьегознает... — пан Михалыч рассматривает зажатый в тисках деревянный перпендикуляр. — У нас чего ни возьми, всегда выходит либо акэем, либо водка, либо балалайка! Но не это главное...

— А что главное? Михалыч... — вздыхает Лёня, держа в руке полный стакан.

— А главное, Лёня, не быть в жизни мудаком!

Через час они подсели к голубям на крыше. Внизу весь, как на ладони, уходил в сумрак Сайгон. Заходящее солнце колосило башню налоговой и золоченые пики церквей, особняки и квартиры в пя-

тигтажках: брошенные, обменянные, проданные. Где они теперь, все эти люди? Пропали в будущем? На футбольном поле блошки-пацанва катала горошину. Лёня, у которого зрение как у моряка, видел даже расчерченную под шахматы площадку.

«А2-А4» — сказал он.

«Вот чертяка! Даже это он видит!» — Михалыч не смотрел туда, пропускал взглядом ту дальнюю окраину, в которой, где-то там внизу, в одном из мерцавших окошек, в светящейся клеточке жила жена Михалыча. Однажды она покинула его и ушла к «мясному человеку». Он убегал взглядом к реке — с пульсирующей слезой, поджав губы. Потом шумно, с матерком, вымаркивался.

— Михалыч, а как твоя фамилия?

— Как-как! Никак... — с досадой ответил Михалыч и снова выморкался. — Околоземный.

— Офигеть... а имя?

— Отец служил в Германии... Скучал по родине. Мне бы, говорит, баян. А в военной части, где он квартировал, запрещали всякую музыку. А после шести вечера — вообще всякой самостоятельности крантец. Даже электричество отрубали. Чтобы не наводить помехи на локаторы. Там у нас была крупнейшая радиохрень. Когда за-за... Мы за-за... Тьфу... шпионили, в общем, за Запад... Баян меня зовут... Баян Михалыч. Околоземный...

— Офигеть...

— Слушай, Лёнь, переселяйся сюда. — Он душевно, с ноткой одиночества, посмотрел в пьяные глаза Лёни и показал на балкон соседнего подъезда. — Я ее для тебя выглядел. Будешь как птица под небом. Самое высокое место у нас тут. Гулю-гулю-гулю.

— Гулю-гулю-гулю, гулю-гулю-гулю! — Лёня замахал крылышками ладоней. Голуби пугливо разлетелись.

Лёня спал очень тяжело, а с утра, нащупав на спине гребневатые рубцы, с комом в горле и несмаргиваемыми слезами побежал к Варя. Вторгся прямо в спальню. Легкая рубашка, как хитиновая гильза с куколки, соскочила с него через голову. Варя вскрикнула, торопливо зашторила комнату и ловкими пальчиками растегнулась из блузки. Белый бюстгальтер светился в розовых сумерках.

— Ты чего? — оторопело сказал он.

— А ты чего? — Она вспыхнула и отвернулась. Подобрала брошенную на стул блузку, в ожидании покрутила пуговицей.

Лёня помолчал. Посопел.

— Посмотри. У меня спина...

— И у меня спина, — как будто знала, что ответить, так быстро сообразила Варя.

— Вот ты всегда так начинаешь... Сама не знаешь, что. — Он присел на стул. — Посмотри у меня на лопатках.

Лёня сел к ней спиной. Варя взяла его за плечи и повернула к окну. Вгляделась. Потом снова подрегулировала рамена, как раму мольберта.

— Лёнька... — прошептала Варя. Сквозь прозрачную кожуцу смотрели два павлиньих глаза. Томительно прикрытый зрачок. Маленькие гермесовы гребенки.

— Лёнька, у тебя крылышки растут! — сказала Варя весело и отвернулась, чтобы надеть блузку.

— Крылышш?.. Че ты гонишь?

Варя сердито обернулась — затянутой в прическу головкой — через плечо. Обиженно ушла, погромела в ванной. Она хоть и работала в парикмахерской, но закончила в педагогическом факультете начальных классов. Не любила, когда при ней говорят грубо. Обижалась, когда Лёня ее называл «банной душой». «Должен же хоть кто-то работать в нашей семье», — поучала она. Хотя Лёня еще не осознавал своего будущего семейного состояния с ней, и они пока только встречались, живя порознь, но Варя уже все решила. С историей и математикой у нее все было в порядке.

Пришла с зеркальцем.

— Ты будешь ангелом. А наши дети — ангелочками. — Накло-нила его спину, за ней в ореоле сморщенной прозрачной кожицы отразилось два голубиных крыла. — Ты — Лёня-Ангелёня, — сказала она уверенно. — А дети будут ангелята. Ангелены.

Лёня поводил плечами. Посмотрел на краешек щетины. Вспу-чил губы.

— Только ты пока никому не говори.

— Скажешь тоже. Не говори. Что я дурочка, что ли? Говорить ему...

Лёня задумчиво вернулся в рубашку. Теперь он был гораздо более спокойным. От этого спокойствия оставался даже еще остаток в виде удовлетворения и маленькой выпуклой гордости. Словно его одарили торжественным титулом, назвали по имени-отчеству посреди базара. Крылья — это, может быть, даже хорошо. Он представил, что *ими* можно пошевелить, как пальцами. Накрыться от дождя, например. К зиме Варя свяжет ему шерстяные накрывальники в виде плаща.

— Ну, я пойду? — мирно спросил он.

Варя кивнула, застегивая последнюю пуговицу, и показала розовым ноготком на подставленную щеку. Лёня неторопливо прикоснулся к ней губами, погладил Варварин затылок.

Если бы не зудящая, словно зубная, боль, Лёня и не обращал бы внимания на то, как лезут за спиной бугорки. Все так же ходил бы по городу босиком, бездорожно срезал сквозь дворы путь до стройки. Только это так называлось — «стройка». Откуда-то приезжали бригады быстрых, громкоголосых молодчиков с наглыми пузатыми лицами. Разбирали дома, начиная с особенно хорошо сохранившихся. Местами целые кварталы. С собой они привозили южных молчаливых ребят, мускулистых, гарцевавших топлес на месте снесенной крыши. А он слегка помогал им растаскивать город. Зарабатывал, разгребая вместе с ними кусочки «коммунизма». Все так же встречал бы Варю с работы. Нес пакеты с едой и выслушивал ее говорливую, ортопедическую речь, рассматривая под ступнями миниатюрную местность. Продолжал бы перебрехиваться с друзьями, когда сидят они на коряге посреди местной речки, с тонюсенькими длинными бамбуковыми удочками, у которых редкие перемычки-суставы, словно позвоночник, вытянутый из бумажного дракона, и которые они держат зажатыми в пальцах ноги. А в кармане антрацитовая, шуршащая пригоршня семечек. Или до сих пор гонял бы расщепленной клюшкой детский мяч, которым ему один раз залепили в нос — хоккей на траве. Теперь же все надо бросить. Сидеть где-то, прятаться, как в детстве, когда он, лишенный компрессами, шарфами, пуховым

платком собственной шеи, оставался болеть ангиной. Никуда не выходил, не знал, чем заняться. И от этого, и главным образом оттого, что ему казалось, что он всех обманул, было особенно легко и хорошо: вот бы так никогда ничем не заниматься. И всю жизнь. Ходить и притворяться в шарфе, за которым ангина. *Они* и были такой ангиной. А Варинины накрыльники, которые она, низко наклонясь, вяжет, пока он идет и несет ее сумки и все это сочиняет, — это и есть шарфы, платки, компрессы. Если бы не нетерпение спать лежа на животе, в то время как *они* лезут изо рта, пока он младенец, и белые, мягкие, сухие, пушистые *крылья* наполняют его рот из зубных прорезей. Обезвоженный, он просыпается от двух болей в спине, лежа навзничь с открытым ртом, в котором давным-давно все пересохло, испарилось. Рот и даже горло подернулись бумажной кожей. Хочется пить.

Если бы не это, все было бы как прежде. А теперь он о *них* думает, как об отдельном от него. О живом.

В середине сентября Лёня как бы вздрогнул и очнулся. Идти стало некуда: дождливое, настолько узкое утро, что свет будто растекая лужицей из щели под дверь. Лёня лежал на животе, рассматривая альбом итальянской живописи, который Варя принесла из разгромленной библиотеки, и наполненный мифологической и библейской суетой. Сокровища, игра света и теней дна морского. Целая энциклопедия ангельских крыльев. На одной репродукции, преклонив колено, перед высоким ангелом стояла женщина с лицом Оли Ивановны и подносила ему дары. Лёня рассматривал ее мягкое старушечье лицо — словно очень влажные ладони. Поношенное платье, башмаки, приспущенный на затылке платок, крупные очки, нарочито свисающий из кармана мобильник на тесемке.

«Позвонить? Рассказать про крылья? Это ведь ваши пирожки. Один, левый, побольше. Вот удружила, Оля Ивановна, — подумал он с горячей обидой. — С чем хоть пирожки-то были? С капустой? Из голубинового крыла?» Сам он не съел ни крошки, все скормил выбравшимся из тайги чертополоха котяткам с соплявыми невидящими глазками. Раскрошил перед ними. Была теплая солнечная погода. Муравей взбирался по пропеченному боку пирожка.

Он позвонил несколько раз. Но не отвечали. Был уже пасмурно-ложный вечер, когда он, обувшись, в плаще, под зонтом, отправился через весь город к Набережной. Плотно стиснутые створки ворот, дом заперт. Под крыльцом фрагмент протектора — ухоженные китайские поля. Под навесом сарая два перевернутых ведра. В Москве у Оли Ивановны родня. Теперь и она ушла в будущее, подумал Лёнька, хотя еще не понимал, как устроено время. Но, похоже, здесь, в Коммунарске, оно остановилось, и теперь его можно изучать, поднимая пинцетом слои, наблюдать, как тушу многокилометрового, заросшего лесом и домами животного. Вот бы сюда ученых: где еще можно увидеть такое совсем мертвое время?

Заночевал у Михалыча. Обо всем рассказал, показал подростки, но не вылупившиеся зачатки. Хрустящие. Левый побольше.

— Я собирался в Москву. Все-то поужезжали. А теперь что делать? С *ними*.

— Да чего ты там не видел, в вашей Москве? Ты теперь вольная птица. Пора, брат, пора!

Они выпили, закусили. Из панорамы хлестал дождь. Перпенди-

куляр в тисках покрылся гусиной кожей брызг. Михалыч на зиму собирался в Сайгон.

— Ты, Лёнька, только не горюй. Должен быть в нашем городе хоть один ангел. Когда никто не останется, все уйдут в будущее, ты один станешь сторожить город. Ангел места. Слышал такое?

— А я тоже улечу, — не соглашался Лёня.

Он представил, как идет по небу босиком, перебирает ногами, а внизу, как по асфальту, — страны, страны. И все такое прочее.

— Я Варьку с собой заберу. Сплету корзинку, посажу туда, и мы улетим.

— Жалко... Я бы тоже с вами хотел. Но вы молодые, а у меня тут хозяйство.

Возвращаясь утром домой, Лёнька встретил прохожего. По запаху и плотному лицу с фиолетовой темью, цвета навозного червя, было ясно: это «мясной человек». Спешил к себе на Бойню. Оказывается, одноклассник — вспомнил Лёнька погода. Не узнать их теперь. Вроде начинали в одном и том же прошлом, а теперь состоят в разных местах настоящего.

Чадила Бойня. От нее слышался тяжелый, гнетущий пространство запах «коммунизма». Раньше от него хотелось сойти с ума, а теперь только подумалось: «Быстрее бы выросли крылья... За зиму сплету корзину и выучу все языки... Надо набрать в библиотеке книг».

Варя все очень здорово спланировала: поселила его в центре, спрятала в переулке, который несколько раз поворачивает под прямым углом внутрь, а в конце упирается сам в себя, пока не останется точка — пустая дыра конуры. Отсюда и к Варе близко, и до библиотеки прогуляться не лень. Она сможет часто приходить, приносить вкусенькое, а он пока должен вынашивать крылья. «Это твоя беременность, — говорит она с завистью холостой подружки. В доме натоплено, и огонек свечи на столе танцует от теплого прилива из кухни. Варя умиляется на покатую горку за спиной, деликатно поглаживает туго уложенную сизую котомку с кровянистыми узорами капилляров: как будто ему теперь одному идти в поход. — Это будет наш первенец».

В ноябре спина сильно болела. И когда стали выходить крылья, то их ломило и резало. Слева чуть больше. И ранним декабрьским утром Лёня из теплой постели пришлепал босичком на порог, потянулся молоденькими крыльями, как бы зевнул *ими* и, чуть продрогнув, стал расправлять за спиной два чудесных, с жемчужным отливом, веера.

Книги, которые он приносил из разгромленной библиотеки с прогулок, охлопывал от пыли и складывал в один угол, а прочитанные — в другой.

## ЛЁНИНА ИСТОРИЯ КРЫЛА

Лёня хотел проследить эволюцию крыла в изобразительных искусствах, насколько могла позволить археология матчасти, стелил на коврах поверх топыристой травки махры тяжелые художественные альбомы — не понять, как столько краски, высвеченного и высеченного в пространстве образа сущего поместилось на плоской



сетчатые листья. Из репродукций складывался пасьянс истории, а не эволюционно выпестованное торжество эстетики. Ибо самым совершенным и банальным крылом предьявлялась неподвижная самолетная плоскость. Она пестрела, сопровождая мелькающий пролет их, вписанных в паспарту страниц.

Расцвет крыла пришелся на Возрождение.

Отдельный жанр крыла, в котором необходимо отметить автору, — крылья Благовещения. Крепкие, изящные, с изгибом бедра, с патронташем нижних перьев — Леонардово. Темно-красные, щитовые — Филиппо Липпи: огненно-вздыбленный плащ, накрывающий зонт паланкина. Арктическое сияние Тиссо. Суровые рублевские крылья. Ландышевые — у Боттичелли. И так до бесконечности.

Рисунок Босха с гнездом совы — единственное обнаруженное «натурфилософское» изображение крыла. Хотя в целом у Иеронима они скорее насекомьи, чем птичьи.

Царевна-Лебедь Врубеля посреди ледяных торосов.

Ван Лейден. «Ангел». Готические журавлиные крылья в стойке кобры.

В Азии совсем мало крыла. На статуэтках Будды его заменит большой ростовой нимб — мандорла — в виде лепестка пламени, как у свечи или спички. Будды внутри них — в функции фитиля. Причем Будда прошлого и Будда настоящего — как две смежные комнаты. «Это надо заметить, — отмечает Лёня, — а именно: крыло, будущее и прошлое. Смычка между ним и временем».

Гермесовы летательные инструменты перепорхнули на спины ренессансных путти. Они, как пташки, обсели картины по периметру. В «Сикстинской мадонне» они обозначают нижнюю границу обрамления и переходят в разряд зрителей.

Уже на древнегреческой вазе крыло совершенно. Впрочем, как и все остальное. Ваза сама по себе — прообраз и макет средневекового собора.

Лёня подозревал, что в большинстве случаев крылья изображались из чувства необходимости дополнительной костюмированной эстетики. Необходимости укрыть, согреть хрупкое небесное тело. Без них фактура казалась неполной, обнаженной, не хватало плащеобразной накидки, с которой можно закинуть рукава за спину.

Совершенно ничего нет оригинального в новой и новейшей живописи. Классические рифмы прерафаэлитов.

NB: встречаются совсем мелкие куриные или индюшачьи закрывки, которыми в деревне метут полы. Так, только символически. Для антуража.

А вот совсем как у него: «Благовещение» Франческо дель Косса. Павильон глазки. Перевернутая арфа.

Птицы в антураже, в мизансцене, в обрамлении — как узор. Для заполнения пустоты. Декоративные лепесточки. Либо в натюрморте с дичью: плюшевые тела с полусферами крыл, пленные в силу анатомии, не имеющие воли расправить плеч. Словно ладонь, безучастно собирающаяся по привычке в горсть.

Древнеегипетские утки взлетают над зарослями папируса, приветливо и статично раскинув крылья.

Ассирийские каменные крылья у быков шеду. Самые длинные и

чеканные из всех: начинаются от передних лап, следуют канту тела, как венки республик на гербе советской монеты.

А вот редкий случай: Караваджо — темно-голубиные аршинные крыла в ракурсе, будто подходишь к ним сзади.

Бадалоккио: крылья в движении, мягкое, пуховое перо пенится, колышется, мнется.

Таддео Гадди: пламенный серафим окутывает Распятие, превращая его в птицу. Птица распята на крыльях, значит, птица тоже в какой-то степени крест.

Берн-Джонс. «Дни творения». Пером заполнен весь задний фон. Воздух еще так густ, что состоит из пера. А потом разгустился и осел на ангелов.

На монгольской миниатюре шестнадцатого века честное собрание птиц, светская болтовня дам и кавалеров.

А вот Стефан Лохнер: остроухие декоративные крылья ангелков-хористов, похожие на лепестки бархатной травы.

Купидон на помпейской фреске.

Ангел звезды Меланхолия на дюреровской гравюре в лавровой листе гранитного пера.

Два фиолетовых пластика на картине Дали.

Ника Самофракийская с нарубленной каменной наледью крыльев. Крупные гроздь нерегулярно разбросанных перьев — вот он, хаос движенья.

У мраморного зрота Кановы крыла просто загляденье: вся скульптура подвешена на них, как тень на облака.

Ну, видно же: это не эволюция, просто история, по которой, как по рельсам, можно катить вперед и назад.

Варе было заказано почаще приносить батарейки для большого фонаря. Читать при свечах, расставленных созвездием, — так удобно обозреть сразу всю историю крыла — сонливо и пожароопасно: два раза подсвечник падал и опалил теплые, мохнатые ковры, на них вспыхнули опушки. Батарейками питался крупный радиоприемник. В темноте при светодиодных иероглифах частот, тяжелься, он оттягивает пересечение радиоволн, словно зарывшийся в центр паутины шмель, и Лёне, который поворачивает ручку настройки, кажется, что так он беспокоит весь мировой радиоэфир. Он полюбил слушать джаз. Майлз Дэвис. Чик Кориа. Телониус Монк. Чарли Паркер. Гитарный фьюжн Маклафлина. Мечтательно-игривый Жако Пасториус. Сокрушительный Билли Кобэм с «Махавишну оркестра» и Сантаной в главной роли.

Когда смеркалось, Лёня выходил с фонарем и санками, перекачивался по низкорослым кварталам. Угловые дома обычно уже давно полуразобраны: там выдернуты ворота из гаража, там неотвязно и навязчиво хочется смотреть в черные комнаты, там перевернутый туалет на заднем дворе. И именно так должно было выглядеть время: большая, заброшенная территория домов, улиц — все это осуществляется одновременно, как место. Прошлое — это место, и будущее — место, и все они помещены в бесконечное настоящее. И оно вмещает все. И оно всегда. Но пока неясно, где именно расположено. Так думал Лёня, пока шел в снегопад.

Сначала подтапливал всякой мелочью, потом раздобыл сарай,

откуда на санках вывозил дровишки с круглым, как у свитков, профилем. Кто-то готовил, надеялся. Не пропадать же добру. А раза два в неделю наезжал в библиотеку. «Не подскажете, как пройти в библиотеку?» — поворачиваешься, а тут бац, такой длинный дяденька, с шершавой, редкой, как волос на ноге, бородашкой и с крыльями в прорезях плаща. И, наверно, улыбается, как зэк.

Лёня подрос, да. Варя тоже заметила. Приходилось вставать на цыпочки, чтобы крылья расправились, не задевая пол, когда она поднимала снизу вверх их складную конструкцию. Они еще не до конца созрели. Оставалось что-то не совсем понятное, что им еще нужно. Как будто в них еще не вдохнули жизнь. Или они пока спали. Но уже были огромные. На целую комнату.

Лёню поперву волновали вопросы: «Как спят ангелы?» Он разбирался с врубелевским поверженным Демоном — уж больно странная, вмороженная в скалы постель из костяка его тела и мякоти крыльев. «Стареют ли они отдельно или с ним вместе? И могут ли они взбунтоваться?»

А теперь думал совсем другой вопрос: «Разве это нормально, у человека выросли крылья?» — и поэтому хотел разобраться, много читал. А время за это время устранило электричество, замело дороги, прекратило мобильную связь, превратило его во что-то другое, у чего нет паспорта, прописки. На птичьих правах он был в этом мире, на птичьих первобытных условиях проживания в нем. Из сна слышал себя со стороны, как бы охранял свое тело, как бы выглядывал из себя, даже чуть на улицу, до ближайшего перекрестка.

Иногда в потемках брошенного квартала звонил телефон, замолкал и через пять минут повторялся, тут или через дом-два. Пожалуй, это было самое страшное для Лёни. Он порывался отыскать металлический, забивший в пустоту звонкий родник, взять ледяную трубку, сказать: «Здесь никого нет! Разве вы не знаете? Зачем звонить в прошлое?» Новогодней ночью вдруг забило, затрезвонило даже оттуда, где вместо дома оставался ровный, по колено, фундамент.

Варя в тот день прибежала веселая и, смеясь, выкладывала из сумки продукты, вспоминала, как в школе мастерили из коробок кормушки:

— Не мороз, не холод страшен птичкам, а голод.

Потом сосредоточенно и серьезно сказала: «Дорогой ангел, прости, пожалуйста, не могу сегодня остаться с тобой. Мы с девочками договорились. Но обещаю, завтра приду. И у нас будут длинные вкусные каникулы. И еще у меня есть для тебя подарок. Но это — до весны».

Читал он очень много. И разное. Но преимущественно из серии «Библиотека мировой литературы». Ему нравилась обложка и хорошая бумага. В новогодний канун, словно в подарок, он открыл для себя стеллажи философии и психологии.

Михалыч часто пересекался с Варей. Его прилавок был через несколько павильонов от парикмахерской. В течение дня он мог бесконечное число раз махнуть ей рукой, она в ответ — кивнуть строгой головкой. Пока он стоял в дверях ее предприятия на пять клиентских кресел, она фрагментарно видела его меняющуюся мимику в зеркале, отрываясь от клиентши.

— Ну что, как там Лёня? — спрашивал Михалыч через головы

посетителей с интонацией, будто про женщину в интересном положении.

— Нормально! — весело отвечала Варя, стрекоча ножницами.

— Растут? — с надеждой продолжал он.

— Растут-растут! — смеялась Варя, застенчиво прикрывая рот.

— Кто растут? — испуганно спрашивала клиентесса в пеленке вокруг шеи.

— Кто-кто! Усы! Вот кто!

Все Лёнины условия, ясное дело, были во дворе. И хотя вокруг все равно, что в лесу, он стеснялся даже перед воздухом — таких больших и красивых крыльев на голое тело. Утром мороз, и только солнце и порхают ослепшие снежинки, а на снегу только птички трилистники и следы Лёни Бездорожного — ангельский полуслед: он чуть припархивал, подлетал на крыльях. Отпечатываются босые пальцы и кусочек ступни: пять разной толщины лучей над полукругом восходящего солнца. Вот такая она — ангельская печать, совсем не то, когда по прежнему асфальту.

Начитанные горы книг вырастали в углах. В них откладывалось время и отстаивалась зима. То, что снаружи шло на убыль, перетекало сюда. Зима осветлялась, а книг в углах, словно теней, прибавлялось.

В город медленно прибывала весна и медленно, словно лучи света, день за днем прорастая дальше, — от подоконника до стола, от стола до стула, от стула до обожженной опушки, — так же медленно поползли слухи, дотягиваясь в разрозненные части города. Из книг разгромленной библиотеки, когда морозный, тугой вихрь скрутит их водоворотом, из старых вещей: обломков, обрывков, с репродукцией нищего мальчика вместо лица — является ангел по всему городу и всякому бегущему от него в сумерках встреченному предрекает: «Скоро, аки пала Вавилонская башня, падет Бойня». Видимо, имелась в виду труба комбината, которую было видно из любой точки города, темно-красного кирпича цвета, закоптелая.

Старушка-информаторша, маскировавшая свое окно половиком, каждый вечер заглядывала в его трухлявую щель, находившуюся как раз по диагонали от едва видневшейся библиотеки. Она самолично подобрала старинное золото, оставшееся на вмятинах в снегу, где ангел прошел, и показывала тяжелую старинную медаль, правда, медную, с прозеленью и неровным ушком, в мягких велюровых складках наследственной тряпочки, отреза от халата. По городу потом долго искали такие же и, по словам Вари, находили, но никому не показывали и подержать не давали.

В апреле по первой травке Лёня пошел в сторону Сайгона, внутренне переживая диалог с Михалычем. О множестве книг, прочитанных за зиму, которых хватило бы на всю жизнь, об оранжерейной анфиладе альбомов, о Лёнином открытии: пространство фундирует собой время, планомерно экстраполируя его повсюду, внахлест перекрывая переход между будущим и прошлым с таким же плавным целеполаганием, как восходящее глассандо джаза, а в самом пределе звука его высота сравнивается константой, и тогда наступает «навсегда». Так он назвал некую всемирную гармонию. И только если

двигаться очень быстро, со скоростью крыла, только тогда можно ухватиться глазом за горизонт движущегося времени. И, конечно, он хотел показать, как выросли его ноги и все тело, чтобы дать крыльям свободу и чтобы не касаться *ими* земли. А левое, если присмотреться, — он повторял, чтобы не забыть эту присказку, — а левое чуть побольше. Крылья совсем созрели, полностью распечатались, расправились.

Он шел, не таясь крыльев, встречая на пути «мясных людей», которые смотрели исподлобья и сильно не хотели, чтобы Бойня пала.

В модуле «задушевный» лежала гипотенуза обрушенной потолочной плиты и чернел кружок от костра. Михалыч на зиму ушел в Сайгон, вспомнил Лёню; а здесь была стоянка чужих людей. Он пробрался в угловую квартиру, о которой говорил Михалыч, самую обыкновенную, потом поднялся на крышу и посмотрел на чужой город.

Конечно, он отправился в прошлое, где, по его представлениям, ничто не в диковинку и ангелы вместе с другими существами вышли из Ноева ковчега, как древние формы старославянского плюсквамперфекта. И пока ковчег кособочился, превращался в горы минералов, все они, существа, дети ковчега, играли, хороводили перед ним, словно краски на райском полотне Яна Брейгеля.

Они поселились в корзине, которую он — с Варей внутри — принес над облаками в это чудесное прошлое. Это был ее подарок, сплетенный за зиму. Плетеная спальня, кухонька на двоих, плетеное окошко и складной порожек, который опускался, если было решено обосноваться на новом месте. Лёня чинил книжные переплеты, а Варя устраивала на голове модниц прически времен барокко — фрегаты с парусами, ботанические павильоны, пышный геральдический декор. В паспортах, которые он завел из разоренной муравьями инкунабулы, она значилась белошвейкой-воспитательницей, а он — как мирской ангел с домашним академическим образованием.

И вот что он обнаружил. Оказалось, настоящих, прошлых и будущих — несметное множество. Все, что существует, раз оно осуществилось, уже является прошлым, а значит, и будущее — по крайней мере, самое ближайшее будущее — в какой-то степени уже прошлое. А потом это будущее уменьшает вероятность себя, пока совсем не перестанет быть неопределенным, удаляясь в прошлое, в то настоящее прошлое, к которому мы привыкли. Тогда, по большому счету, повсюду есть только прошлое. Будущего и настоящего, по факту, нет и быть не может, ведь то, к чему мы мысленно прикоснулись и что осознали, — уже прошлое. Значит, из нашего будущего навстречу нам всегда движется чье-то прошлое — того, кто к нему мысленно прикоснулся раньше нас. Время же запаздывает, на микроскопическую долю вселенской жизни, потому что мысль быстрее времени и скорости света. Мы уже что-то осознали, а время только-только догоняет осознанное. Так думал Лёня в своем далеком царстве плюсквамперфекта. Он подолгу двигался над этой страной, перебирая в небе босыми ступнями. И поскольку левое крыло отродясь было чуть крупнее, то, когда задумывался, неосознанно ложился на правый курс.

Жизнь на одном месте, продолжал он думать дальше, — это

ярмо собственноручного рабства. Крылья не зря ему нужны, чтобы, перелетая между прошлыми, меняться самому. Чертами лица, пропорциями тела. По существу, начитав столько всего, он теперь живет сам в себе и может быть абсолютно равен самому себе. Лети в прошлое, в будущее, беседуй, с кем захочешь, как с самим собой, и в любое время. Вот они, преимущества внутренней свободы.

Пан Михалыч сначала жил на окраине в особняке, захватив его безо всяких зазрений совести, по-сквоттерски. Со временем отбросил имя-отчество, срезал свирель и стал просто Пан, растворившись в лесах. Лёня ничего про это не знал и считал, что тот совершенно зря прозябает в своем настоящем. Пока Лёня летел в новые края, прицепив к поясу плетеный домик с Варей внутри, то мысленно распекал его за мелочное, провинциальное «панмихальство», которое Лёне теперь, после стольких книг, стало совершенно очевидно.

Но тогда он еще не испытал смысла, что, улетев откуда-нибудь, улетаешь навсегда. Не знал, что невозможно возвратиться в точно это же место. А если пытаешься возвращаться, то застаешь уже что-то другое. Поэтому, где был Коммунарск, через полвека стоял лес и развалины совсем другого, едва ли внешне похожего, но на самом деле чужого города. Седобородый ангел с выводком внуков гостил на чистом пригорке, рассматривая дальнозорким глазом чащобу, где, наверное, мог бы стоять Сайгон.

У внуков одно крыло — у кого левое, у кого правое — чуть побольше. Они шумели, каждый кричал громче другого.

Семилетняя девочка декламационным тоном сообщала:

— Это настоящее время: что де-ла-ет! А это прошедшее: что делал!

— А я тебе говорю: что делала — это настоящее время, — перебил ей мальчик с сиреневым, чуть более крупным левым. — Что ты сейчас делала? Сейчас — делала! Вот видишь!

Один читал по книжке: «На берегу незамерзающего Понта мы жили-были трали-вали».

Потом седобородый дедушка поднял их в воздух, и они гуськом, держась друг за друга, пошли над лесом, обходя стороной трубу комбината.

В лесу кто-то показался, приник к дереву и исчез. Может быть, в образе Пана бродил там Баян Михалыч Околоземный, когда-то инженер-строитель.

Солнце садилось. Семейка ангелёнов босоного возвращалась домой в прошлое. Лес стоял тихо, незаметно, бесконечно долго и, погружаясь в наблюдение, оказывался одновременно везде.

